

ВЫСОКОЕ НЕБО • КУЛЬТУРА

Мария Петровых

В неё были одновременно влюблены Мандельштам и Лев Гумилёв— отвергла обоих. Ее стихи просил Твардовский— не прислала. Десятилетия писала в никуда



Мария Петровых. Фото: архив

18:05, 20 сентября 2024,

Алексей Поликовский

обозреватель «Новой»



Владимир Адмони, впервые встретив Марию Петровых у Ахматовой, спросил: «А кто эта девочка?» Годы её тогда подбирались к пятидесяти, но в глазах будущего учёного доктора honoris causa она была «юная, совсем юная девушка». Так она выглядела.

Невысокая, худенькая, с пышными волосами, которые в одних воспоминаниях названы светлыми, а в других — тёмными, она больше слушала, чем говорила. И внимательно смотрела на говорящего. Кто-кто видел её красоту, а кому-то она казалась «невзрачной женщиной» в порыжелой фетровой шляпе. Шляпа была модной в двадцатые годы, а она носила её в сороковые. В те времена многим было не до моды, но «неумение одеваться сопутствовало ей всегда».

Она жила в двухэтажном домике на пересечении Беговой и Хорошевского шоссе. Домик тонул в зелени тополей. Дома по адресу: Москва А-284, Хорошевское шоссе, д. 8, корпус 2, кв. 11 — давно нет, но, читая мемуары о ней, можно узнать даже номер её телефона: Д. 3. 00. 80, добавочный 5-29. Квартира находилась на втором этаже, ход туда был по скрипевшей под ногами деревянной лестнице. По этой лестнице к её двери тяжело поднималась Ахматова. Здесь у неё был один из многочисленных «запасных аэродромов» — на случай, если комната у Ардовых занята. А за дверью — два дивана, один напротив другого, круглый стол, за которым она всегда кормила всех приходивших к ней и поила чаем; любимым её блюдом была гречневая каша с крутыми яйцами. В комнате Петровых никаких украшательств и безделушек не было, строгая чистота и даже пустота рабочего места.



Мария Петровых и Анна Ахматова. Фото: архив

Она жила с дочерью Ариной и собакой-дворняжкой Дымкой. Дома у неё был чёрно-зелёный плед и зелёный халат. За письменным столом она стихов не писала. Писала, сидя на диване, на большом листе, что-нибудь подложив под него.

Летом 1930 года она была в Коктебеле и читала свои стихи Волошину. В 1933-м сама пришла к Ахматовой в Фонтанный дом — знакомиться. В конце 1933 года в неё были одновременно влюблены Осип Мандельштам и Лев Гумилёв; Мандельштам, помимо «Мастерицы виноватых взоров», посвятил ей ещё одно стихотворение, несколько строк из которого она помнила наизусть. Но не записала. И они исчезли.

Все они в те страшные дни были влюблены друг в друга, играли в эротическую возбуждающую игру, и все что-то писали.

Лев Гумилёв написал на неё эпиграмму, где назвал её «Манон Леско». Эпиграмма тоже не сохранилась. Мария отвергла их обоих — и Осипа, и Льва. И оба пошли своим крестным путём, один — к гибели, другой — к долгому заточению.

Сама она говорила, что Мандельштам был ей неинтересен: «Он старик». Но, как пишет Эмма Герштейн, она выходила из его комнаты «с пылающими щеками и экстатическим взглядом». Он просил её говорить ему «ты» и получил в ответ почти грубое «ну, ты». Это было, когда до его ареста оставались считаные дни.

Она была среди тех девяти (или одиннадцати) человек, которым Мандельштам читал «Мы живём, под собою не чуя страны». Она была единственной, кто записал стихотворение (потом сожгла его). Её вызывали в органы и пытались сделать стукачкой. Иногда, доходя до отчаяния, она думала о том, что расскажет им всё. Но никаких показаний они от неё не получили. Её мужа арестовали, и он умер в лагере.

В послевоенном литературном мире она была своя. Своя она была в издательских редакциях, в писательской компании за одним столом с Павлом Антокольским, в Доме творчества писателей в Голицыне. Все её знали как переводчицу. И как редактора переводов. А как поэта? Знали тоже, знали, что она пишет стихи, но она со своими стихами была всегда как-то в стороне.



Фото 1930-х годов. Слева направо: Георгий Чулков, Мария Петровых, Анна Ахматова и Осип Мандельштам. Фото: архив

Она была медлительна. Углублена в себя. Заторможена? Говорила медленно, прерывая саму себя паузами, будто задумывалась о том, куда течёт предложение; начинала говорить и замолкала, чиркая спичкой о коробок и закуривая. Она много курила. Что именно — неужели обычные тогда папиросы, которые, прежде чем закурить, нужно разминать в пальцах? Те, кто вспоминали её в мемуарах, сподобились высказать всё, что думали о её стихах, но о том, что она курила, — ни слова.

Она была закрытым человеком, в ней не было души нараспашку, раскрытой всему миру. Сдержанная и даже сухая, она как будто хранила в себе — себя, боль своей немоты, боль своей судьбы, свой приговор к молчанию.

А когда однажды один человек, сам вполне успешный

советский поэт, предложил ей помощь в составлении сборника стихов и его продвижении в издательстве, она отвечала ему холодно: «В благодеяниях я не нуждаюсь». Твардовский, став главным редактором «Нового мира», попросил её прислать в редакцию стихи. Она не прислала. Когда в 1956 году её попросили дать стихи в «День поэзии» — не дала. Выпустить сборник своих стихотворений в издательстве «Советский писатель» — то, о чём мечтали многие, — не захотела. И не объясняла почему.

Может быть, она, близко знавшая Ахматову и Пастернака, видела свою малость рядом с ними; может быть, память о запрещённых и отправленных в забвение Волошине, в доме которого она чувствовала себя счастливой, Мандельштаме, который однажды попросил погладить его, а она в ответ презрительно махнула по его плечу рукой, останавливала её. «Иногда бессовестно прославиться».

Она упорно отказывалась читать свои стихи. Уступала и читала два-три, если очень просили. Ей нужно было переступить внутри себя через что-то, сломать ту невидимую стену, за которой она — поэт Петровых — жила.

Это было для неё целое событие — выйти из самой себя, из своего одиночества, и предстать перед людьми со своими стихами. Читала тихим голосом, сжимая пальцы одной руки пальцами другой. На щеках у неё появлялся румянец.

В 1925 году она всю ночь просидела у гроба Есенина в московском Доме печати. В 1956-м сидела у гроба Фадеева, который был её единственной любовью. Не потому, что ничего

другого не было — другое и другие были, — а потому, что «ты светом и воздухом стал для меня».

Десятилетия писания в никуда подтачивали её стойкий характер. На будущее не было и никогда нет никаких гарантий. Пастернак как-то раз посоветовал ей быть смелее, но что это значит — быть смелее? Наступала немота. Уже не было Ахматовой, уже не было Пастернака, и жила затерянная в огромной Москве худенькая женщина с чёлкой, каждодневно склонявшаяся над переводами. Она так тщательно работала над переводами, что никогда не успевала сдать их в срок.

Это был её труд, её крест — вложить всю себя в чужие строки и в конце концов почувствовать себя придавленной и раздавленной бесконечной горой чужих слов, чужих мыслей, чужих рифм. «Я нелепый, нескладный, оцепеневший человек».



Мария Петровых. Фото: архив

МАРИЯ ПЕТРОВЫХ. СТИХИ

Назначь мне свиданье на этом свете.
Назначь мне свиданье в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Назначь мне свиданье в том городе южном,
Где ветры гоняли по взгорьям окружным,
Где море пленяло волной семицветной,
Где сердце не знало любви безответной.
Ты вспомни о первом свидании тайном,
Когда мы бродили вдвоём по окрайнам,

Меж домиков тесных, по улочкам узким, Где нам отвечали с акцентом нерусским. Пейзажи и впрямь были бедны и жалки, Но вспомни, что даже на мусорной свалке Жестянки и склянки сверканьем алмазным, Казалось, мечтали о чём-то прекрасном. Тропинка всё выше кружила над бездной... Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный?.. Числа я не знаю, но с этого дня Ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в круженье обратном И встретимся мы в переулке Гранатном... Назначь мне свиданье у нас на земле, В твоём потаённом сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, Пока ещё слышим, Пока ещё видим, Пока ещё дышим, И я сквозь рыданья Тебя заклинаю: назначь мне свиданье! Назначь мне свиданье, хотя б на мгновенье, На площади людной, под бурей осенней, Мне трудно дышать, я молю о спасенье... Хотя бы в последний мой смертный час Назначь мне свиданье у синих глаз. 1953, Дубулты

Ты отнял у меня и свет, и воздух, И хочешь знать — где силы я беру, Чтобы дышать, чтоб видеть небо в звёздах, Чтоб за работу браться поутру. Ну что же, я тебе отвечу, милый: Растоптанные заживо сердца Отчаянье вдруг наполняет силой, Отчаянье без края, без конца. 1958

О чём же, о чём, если мир необъятен?..
Я поздно очнулась, кругом ни души.
О чём же? О снеге? О солнце без пятен?
А если и пятна на нём хороши?..
О людях? Но либо молчание, либо
Лишь правда, а мне до неё не дойти.
О жизни?.. Любовь моя, свет мой, — спасибо.
О смерти?.. Любовь моя, свет мой, — прости.
8 октября 1960 года

Что ж ты молчишь из года в год?Сказать, как видно, нечего?О нет, меня тоска гнетётОт горя человечьего.

Во мне живого места нет, И все дороги пройдены, И я молчу десятки лет Молчаньем горькой родины.

Моя душа была в аду. Найду ли слово громкое! Любую смертную беду Я обходила кромкою.

До срока лучшие из нас В молчанье смерти выбыли. И никого никто не спас От неминучей гибели.

Когда б сказать об этом вслух! Но вновь захватывает дух... Решись, решись отчаянно, Скажись хотя б нечаянно!

Тогда не страшно умереть
И жить не страшно. Кто ни встреть —
Всех озаришь победою.
Но промолчу весь жалкий век,
Урод, калека из калек.
Зачем жила — не ведаю.
1958

Легко ль понять через десятки лет — Здесь нет меня, ну просто нет и нет. Я не запомнила земные дни. Растенью и тому, наверно, внятно Теченье дней, а для меня они — Как на луне смутнеющие пятна. 1969

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



Андрей Белый

Человек с сапфировыми глазами, извергавший слова в мир и заливавший мир словами

17:03, 10 июля 2024, Алексей Поликовский